

Михаил Волконский

Записки прадеда



Михаил Волконский

Записки прадеда

«Public Domain»

1914

Волконский М. Н.

Записки прадеда / М. Н. Волконский — «Public Domain», 1914

«Изучать XVIII столетие, в особенности конец его, и оставлять без внимания ту несомненную склонность к мистическому и таинственному, которая служит одной из характерных черт этого времени, так же невозможно, как писать картину без фона. Волей-неволей приходится считаться с этим явлением, когда есть несомненные данные, что даже такие люди, как светлейший князь Тавриды – Потемкин, были вовсе не чужды влияниям мистического течения. Зная, что меня интересует эта сторона жизни прошлого века, один из приятелей моих доставил мне найденные им у себя в деревне записки своего прадеда...»

Содержание

Предисловие	5
I. Молодой Орленев	6
II. Сила тайны слова	12
III. «Она»	18
IV. Человек, сидящий на камне	23
V. Потемкин	28
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Михаил Волконский

Записки прадеда

Предисловие

Изучать XVIII столетие, в особенности конец его, и оставлять без внимания ту несомненную склонность к мистическому и таинственному, которая служит одной из характерных черт этого времени, так же невозможно, как писать картину без фона. Волей-неволей приходится считаться с этим явлением, когда есть несомненные данные, что даже такие люди, как светлейший князь Тавриды – Потемкин, были вовсе не чужды влияниям мистического течения.

Зная, что меня интересует эта сторона жизни прошлого века, один из приятелей моих доставил мне найденные им у себя в деревне записки своего прадеда.

Рукопись оказалась не лишенной интереса и очень характерной и послужила содержанием предлагаемой повести, расположение которой по главам вполне соответствует первоначальному источнику. Изменено лишь изложение, сделанное более удобочитаемым слогом, придана литературная обработка и взяты вместо подлинных вымышленные имена и фамилии некоторых действующих лиц.

На рукописи сделаны довольно искусно пером два рисунка, иллюминированные красками. Один, на заглавном листе, изображает человека в белой длинной одежде с обручем на голове. Левой рукой он показывает на землю, а правую, в которой держит жезл, – поднял. Перед ним куб с лежащими на нем чашей, мечом и диском. На другом рисунке, помещенном в конце, – слепой с полным мешком за плечами плетется ощупью, не видя, что перед ним на поверженном обелиске разинул на него пасть огромный крокодил.

«История сия, – говорит автор записки в своем предисловии, – вполне правдива, ибо имеет предметом своим не праздный вымысел, но правду истинную. Уразумением ее да просветит свой разум мудрый, а глупец, видящий в чтении лишь препровождение времени, пусть скажет: «Сие не токмо произойти не могло, но даже и невероятно!» Смущаться ли мнением неразумных, коих удел есть верхоглядство и мракобесие!

Но прочесть с пользой желающий в смысл изложения таковой пусть вникает и по трезвом размышлении истину от лжи отличит, ибо истина мудрому сама по себе понятна станет.

Для сего единственным пособием собственный разум и чистота сердца послужат. Неразумному, сколько ни толкуй, все темно, непонятно и сомнительно будет, а мудрый в том самом свет обрящет, от чего у глупого глаза слепнут, ибо свет для глупого тьмы горше!»

I. Молодой Орленев

1

У веселого, симпатичного всем Кирюши Доронина, жившего в родительском доме на отдельной квартире на холостом положении, собрались приятели.

Низкая, прокуренная комната полна была народа. В табачном дыму краснело пламя догоревших почти до подсвечников свечей, и обитые расписанным красками полотном стены сливались, теряясь в одном общем, неопределенном тумане.

У покрытого зеленым сукном стола столпились игравшие. Там то притихали, когда наступала минута ожидания, кому сдаваемые карты покажут выигрыш, то слышались восклицания, отрывочные и неясные, иногда даже слишком – словно выкинули что – громкие, и снова согнутые спины игроков сжимались теснее, и наступала тишина, в которой раздавался приятный и знакомый всем присутствовавшим шелест колоды.

Был тот час пьяной игорной ночи, когда бывшие в обороте деньги распределились уже и понемногу спрятались у прибравших свой выигрыш. Игра перешла на мелок.

Несколько человек, и между ними один, на вид старше всех остальных, отделившись в сторонку, сидели на угольном закаминном диване с длинными французскими трубками и пили вино, не беспокоясь тем, когда проливали и плескали чокаясь.

Посредине на круглом, покрытом залитой вином скатертью столе стояли объедки холодного ужина и бутылки, раскупоренные, выпитые и наполовину еще полные. Те, которым не везло у игрального стола, отходили, брались за стаканы, подходили якобы послушать, о чем говорят на диване, но снова быстро поворачивались и, точно железо к магниту, тянулись снова играть.

Сам Доронин (он проиграл сегодня много, но не успел еще сосчитать и сознать свой проигрыш) заботился об одном только – чтобы всем было весело и приятно, и то делал, якобы для оживления игры, большую ставку у игрального стола, то подходил потчевать кого-нибудь ужином, то прислушивался и вставлял свое слово в разговор на диване. Он был доволен гостями, и, казалось, гости были очень довольны им.

Гости эти были давно знакомы и с хозяином и друг с другом и часто сходились в гостеприимной квартире Доронина. Большинство из них было на «ты».

Чужим среди них казался только один молодой человек в белом парике и голубом атласном кафтане с галунами английского покроя. В карты он не играл, но внимательно и долго следил за игрой. Он несколько раз отходил от стола и снова возвращался к нему.

Хозяин и гости мало обращали на него внимания. Почти в самом начале вечера, при своем появлении, он сделал неловкость, благодаря которой почувствовалась эта общая отчужденность к нему. Заговорили о празднике, устроенном месяца полтора тому назад князем Потемкиным в его новом Таврическом дворце; говорили, что одного воска для иллюминации было куплено на семьдесят тысяч рублей. Для освещения дворца потребовалось добавить до двухсот люстр. Вообще роскошь была удивительная. Потемкин превзошел сам себя. Праздник был таков, что о нем, казалось, забыть было нельзя, и завистливый ропот удивления, похвал и злословий не умолкал в Петербурге.

Общество, собравшееся у Доронина, принадлежало к сторонникам вновь народившейся при дворе силы – Зубова, и потому здесь открыто порицали Потемкина, который напрасно-де тщится своим «мотовством» вернуть к себе прежнее расположение государыни.

– Да ему, кажись, нечего и возвращать – он никогда не терял этого расположения, да и у Зубова нет таких крыльев, чтобы залететь выше светлейшего.

Проговорил это вдруг молодой человек в атласном кафтане.

Всем стало неловко. Во-первых, в этом кружке не принято было называть князя Таврического «светлейшим», а уж ставить его выше Зубова – совсем было неудобно. Все замолчали и притихли.

– Кто это? – шепотом стали спрашивать гости у хозяина.

Тот, застыдившись и краснея, начал объяснять и оправдываться.

– Это – Орленев, Сергей Александрович, – заговорил он тоже шепотом, – племянник старика Орленева, у которого дом на Фонтанной был... вот что умер недавно. Он жил долго за границей, в Лондоне, и приехал недавно только, именно по случаю смерти своего дяди. Он вовсе не знает Петербурга...

– Да ты-то откуда взял его?

– Я встретился с ним у Гидля, в кондитерской, – снова оправдывался Доронин. – Он сказал мне, что у его дяди был дом на Фонтанной. Он и остановился теперь в этом доме...

Но никто хорошенько не помнил старика Орленева, у которого был дом на Фонтанной.

– И всегда этот Кирюша попадется! – решили кругом. – Очень нужно приглашать незнакомого человека.

И на Орленева стали коситься, и никто во весь вечер не подходил к нему.

Сам он не то чтобы не заметил этого, а держал себя как-то так, словно ему было решительно безразлично, как смотрят на него и что о нем думают. Он остался у Доронина и, не заботясь ни о ком, вел себя совершенно самостоятельно.

Вскоре о нем забыли и перестали обращать на него внимание.

2

Только по временам, когда вдруг с той стороны комнаты, где стояли клавишины, раздавались звуки грустно-тихой, хватавшей за душу, увлекавшей музыки, все лицо Орленева оживлялось, и он улыбаясь прислушивался.

У Кирюши всегда вечером на сборищах его приятелей было что-нибудь особенное – певец какой-нибудь, песенники, дворовый мальчишка, пляшущий трепака, или невесть где и как разысканная цыганка, забавно гадавшая желающим.

На этот раз он позвал, чтобы играть на клавишинах, музыканта, впрочем довольно известного в Петербурге и по кондитерским, и по веселым домам, и так вот, по частным вечерам холостых людей. Слыл он полоумным, и в большинстве случаев не столько слушали его игру, сколько потешались над ним. Он был не русский, но, каково собственное его происхождение, никто не спрашивал и не интересовался этим. По его длинной фигуре, на худых, с выдававшимися костями, плечах которой болтался длинный черный кафтан с большими пуговицами назади, по его сухому, бритому, с заостренными чертами и голубыми большими глазами лицу, выглядывавшему между прядей седеющих, прямых, длинных желтых волос, а главное, по говору – он был не русский, а потому его звали немцем-музыкантом и, так как считали, что рассудок его поврежден, – полоумным.

Он никогда не играл веселых вещей. Он обыкновенно садился за клавишины и начинал импровизировать. Импровизации его всегда лились стройным, грустным напевом, но это-то именно и нравилось его полупьяным или вовсе пьяным слушателям. Чем веселее и разгульнее была компания, тем с большим восторгом воспринимались раздававшиеся среди гама и хохота стройные, плавные звуки.

Иногда притихали и слушали в молчании игру полоумного музыканта, давали увлечься ему, и кто-нибудь из самых пьяных начинал уже плакать и бить себе в грудь, приговаривая:

– Свиньи мы, свиньи!..

Но в это время на голову увлекшегося музыканта выливали из миски остатки липкого пьяного питья, он останавливался, дико смотрел кругом и, словно разбуженный, не понимал, что с ним случилось... И снова всем становилось весело.

Или заставляли играть его и под его грустную игру готовились к обычной, но всегда веселившей всех шутке – похоронам полоумного немца. Устраивали целую процессию: впереди несли половую щетку, наряжались факельщиками, рыцарями, закутывались в простыни и носили в виде мертвеца отуманенного своей музыкой полоумного музыканта.

В нынешний вечер оставили его в покое. Игра за карточным столом вышла слишком серьезной. Не до него было. Он несколько раз садился за клавишины, играл, играл долго, потом задумывался, низко опустив голову, снова пальцы его, как бы машинально, бегали по клавишам, и комнату охватывали тихие, мелодические звуки.

Но только один Орленев прислушивался к ним. Он весь словно преображался, когда раздавались эти звуки, и, не будь их, он давно бы ушел от Доронина. Ему очень не нравилось и было вовсе не по себе тут.

Когда немец играл, он весь отдавался его музыке и не мог уйти, когда она кончалась, надеясь снова услышать ее; музыкант играл снова, и Орленев слушал и не мог уйти.

Иногда так тихо, что Сергею Александровичу казалось, что он один слышит только, старик под свою игру подпевал немецкие стихи.

Два куплета запомнились невольно:

*«Жизнь с своими испытаньями.
Бесчисленными испытаньями,
Дана нам Промыслом,
Чтобы развить нашу волю.
Человек, лишенный воли.
Человек бездеятельный
Так же к гибели близок.
Как близок к ней злодей!»*

3

Когда завязался разговор на угольном, за камином, диване, музыкант сделал перерыв, и Орленев, искоса поглядывая на него, ожидая, когда он вновь заиграет, подошел к дивану, впрочем вовсе не желая слушать то, что говорилось там, а так, просто, от нечего делать.

Говорил тот, который был постарше остальных (Орленев не знал, кто это), и говорил уверенно, как бы зная заранее, что все, что он ни скажет, будет принято с должным уважением. И действительно, его слушали не перебивая и даже с оттенком некоторого подобию-страстия.

– Удивительный интерес возбудила она во мне, – говорил он, растягивая слова, – занятная история! Во-первых, возьмите в рассуждение то, что она – девушка; черненькие эдакие, знаете, глазки, талия – соломинка, а ножка!.. Для меня главное в женщине – ножка и талия... А тут и личико!.. И знаете, главное, эта невинность девичья, чистота и благородство.

– Значит, благородная? – спросил кто-то.

– Вне всякого сомнения. Уж очень в ней много этой благородной прелести. Удивительно!

– Но как же, если она благородная?

– То есть что – как? Очень просто. Я потому и рассчитываю на вас – облава, ночь... и все кончено. Не в первый раз. Я местожительство узнал.

Наступило молчание.

– Однако до сих пор, – весело и развязно заговорил Кирюша Доронин, – вы имели дело с таким народом, который не посмел бы идти против нас, но если теперь благородная...

Рассказывавший свистнул и махнул рукой.

– Об этом не тревожьтесь! Во-первых, я вас под обух за помощь и товарищество подводить не стану, – в случае чего сам один ответить сумею, а во-вторых, тут бояться решительно нечего: птичка одна-одинешенька и живет как-то странно, на Петербургской, у церкви Сампсония. С ней старуха вроде испанской дуэньи. Романтично и таинственно. И никого у них не бывает, решительно никого, и сами они никуда не ездят.

– Так что же, ночной налет? – опять переспросил кто-то.

Кругом захихикали и засмеялись.

Орленев знал, что такие случаи в то время в Петербурге были возможны. Кутящая компания налетала на мещанский или купеческий дом, безобразничала там и потом отделялась деньгами, подарками и, всякими правдами и неправдами, выходила чиста. Правда, что случалось не зауряд, однако все-таки случалось. Орленев думал, что делалось оно спяна, не помня, так сказать, себя, но чтобы можно было так вот заранее уговариваться устроить облаву на честную девушку, готовиться и обдумывать разбой – этого он никак не мог ожидать. И говорили они вполне серьезно, не в шутку, и старший их первый заводил речь и просил помочь.

– Но ведь это – подлость! – проговорил Орленев.

Все оглянулись на него, и с таким удивлением, точно теперь только заметили, что он был среди них.

Однако слово было уже сказано. Орленев сам ожесточился звуком своего голоса, и не успела еще пройти первая минута общего замешательства, как он заговорил, чувствуя, что вся кровь приливает ему к голове.

– Да, это – подлость, это – разбой, и та девушка, о которой вы говорите, не может быть одна и беззащитна. Я не знаю ее, но я говорю вам, что это – подлость, – это слово, первое пришедшее на язык, он повторял невольно, – и я не позволю вам сделать это, да, я...

– Он пьян, он пьян совсем, – заговорили кругом и несколько рук охватило его и оттащило в сторону.

– Что вы делаете! – шептал ему в ухо в это время голос Кирюши Доронина. – Что вы делаете? Ведь вы оскорбляете отца Зубова, самого Зубова; это – отец князя Зубова!

Сергей Александрович не сразу понял то, о чем ему говорили, то есть что пожилой человек, предлагавший скверную затею, был отец всесильного князя Зубова.

Между тем Зубов поднялся с дивана и твердо подошел почти в упор к Орленеву. Он вполне владел собой и улыбался подходя.

– Ваша фамилия? – спросил он, сдвигая брови, точно непогрешимый начальник у провинившегося подчиненного.

Этот тон удивил Орленева, и он именно удивленно оглядел Зубова с ног до головы и, чтобы тот не подумал, что он робеет назвать себя, громко и явственно произнес:

– Дворянин Орленев.

Он нарочно подчеркнул слово «дворянин» и выпрямился.

– Ну так вот что, дворянин Орленев, – заговорил Зубов, вдруг меняя свой прежний тон на шутливый, – не вам судить поступки старших. Но за ваши слова я разведусь с вами поединком завтра же, в леску за Фонтанной, у строящейся церкви. Вы будете меня ждать там... в семь часов утра... Но только не вообразите, что ваша выходка может изменить что-

нибудь в моих намерениях! – и, взяв со стола стакан, он высоко поднял его и отчетливо проговорил: – За успех нашей затеи... на Петербургской... Вот как!..

Его слова были покрыты одобрительным криком. Пили его здоровье.

4

Орленев был рад и вместе с тем не рад, когда, выйдя от Доронина, очутился на улице.

То, что произошло между ним и стариком Зубовым, не только не было неприятно ему, а, напротив, веселило его и радовало, как хороший поступок, после которого обыкновенно чувствуешь себя легко и свободно. Своему поведению и своему ответу он был рад, но гнетущее чувство, сжимавшее теперь его сердце, происходило совершенно от другой причины.

Эта пьяная компания, эта игра, запах вина, пролитого на скатерть, табачный дым оставили в нем скверное, тяжелое воспоминание, не рассеявшееся, а, напротив, еще значительно увеличившееся, когда он вышел на чистый воздух теплого раннего летнего петербургского утра.

В это время года заря почти сходилась с зарей, и теперь солнце стояло настолько высоко, что, казалось, уже начинало греть, и греть так радостно и приветливо, что Орленеву невольно становилось стыдно за бессмысленно проведенную бессонную ночь.

«И зачем я сидел? – спрашивал он себя, осторожно ступая по проложенным кое-где через грязь и лужи доскам для пешеходов. – Что было хорошего там? Нет, было что-то хорошее, – тут же начал припоминать он, – было!.. Да, музыка!»

В начале вечера кто-то, кажется сам Доронин, объяснил ему, что игравший на клавиринах музыкант был полоумный. И, вспомнив теперь о музыке, он стал думать об этом музыканте. Его почти восковое, испитое лицо и в особенности глаза, уставленные как-то неопределенно в одну точку, так и явились перед ним, как живые.

«Но как он играет, ах, как он играет!.. Если бы они могли только понять!» – повторял себе Сергей Александрович, подразумевая под этим «они» тех, которые составляли общество Доронина и воспоминание о которых было ему теперь грустно.

Он переходил как раз по длинной доске, положенной вдоль забора чьей-то милосердной рукой на пользу общую, так как иначе пришлось бы здесь завязнуть по щиколотку. О такой роскоши, как тротуары, даже деревянные, в Петербурге того времени не имели тогда понятия.

Достигнув конца доски, Орленев почувствовал, что сзади него, на противоположный – ступил кто-то, но обернуться, не потеряв равновесия, не мог.

«Верно кто-нибудь из этой компании тоже», – решил он, сходя наконец на протоптанную среди грязи тропинку, и оглянулся.

По доске к нему приближался в своем длинном балахоне и широкополой, какие носили немецкие пасторы, шляпе, с тростью в руке, тот самый полоумный музыкант, о котором он только что думал.

Сергей Александрович остановился, почувствовал, что ему приятно было бы поговорить, и именно с этим, чужим ему, но почему-то симпатичным человеком. Да, музыкант, несмотря на то, что его называли полоумным, был симпатичен ему.

Перейдя по доске, немец тоже остановился, потому что дорога была занята, и, глянув из-под полей своей шляпы прямо в лицо Орленеву, улыбнулся.

Здесь, вблизи, на дневном свету, он казался гораздо старше, чем там, у клавирина. Разница была слишком разительная, чтобы не броситься прямо в глаза. Там он казался человеком средних лет, только пережившим многое, теперь же пред Сергеем Александровичем стоял старик, совсем старик с глубокими складками у углов рта, и – что страннее всего – глаза этого старика были вовсе не безумные, не те, выражение которых поразило Орленева

во время музыки; нет, взгляд их теперь был осмысленный, строгий и глубокий. Они смотрели в самую душу, эти удивительные глаза.

– Простите, ведь это вы играли сейчас у Доронина? – заговорил Орленев, как бы сомневаясь даже, не другой ли это был кто-нибудь.

И в эту минуту ему так хотелось поговорить с этим стариком, что он невольно заранее испугался: а вдруг тот ответит, что он не играл?

Но старик не отнекивался.

– Так позвольте быть знакомым, – сказал Орленев, назвал себя и по английской манере протянул руку для пожатия.

Странная, как молния, быстрая улыбка промелькнула на лице старика при словах «позвольте быть знакомым»; он вежливо приподнял шляпу и пожал руку Орленеву.

– Позвольте узнать ваше имя? – спросил тот.

– Гирли!

– Это что же, фамилия ваша, имя?

– Зовите меня просто Гирли, или старый Гирли; так меня здесь все называют, – ответил старик.

И они пошли дальше вместе.

II. Сила тайны слова

1

Странное, почти необъяснимое впечатление произвел старый музыкант, просивший называть себя «просто Гирли», на Орленева.

Во-первых, это имя «Гирли» звучало как-то совсем непонятно; во-вторых, поведение его было тоже совсем особенное, даже и для полоумного. Он, встретившись с Орленевым, пошел с ним, не спросив, куда тому нужно было идти, и пошел уверенно, довел своего молодого спутника до дома и показал ему на этот дом, сказав: «Вот вы здесь живете!» Орленев только потом сообразил и удивился, откуда этот старик мог знать так хорошо место, где он живет, и зачем он довел его до самого дома?

Говорил Гирли дорогой тоже вещи, непохожие на обыкновенный разговор.

Речь у них зашла об огне. Орленев не помнил, как собственно заговорили они об этом. Но вот что старик сказал об огне:

– Огонь есть на небеси, и небесный огонь проявляется в грозе. Есть огонь подземный, и как он зародился под землей – это тайна, которой люди не знают. Земля так, как устроил ее Господь, нуждается в огне только подземном и небесном; но люди захотели большего. Они научились добывать огонь на самой земле и, думая, что это – благо, увеличили только свое зло. Они постарались проникнуть тайну – и за это наказуются. Не будь этого добытого людьми огня, на земле было бы гораздо меньше зла. Земля устроена так, что жить на ней человеку хорошо и привольно, то есть было бы хорошо и привольно жить, если бы жил он, как следует. Птицы знают время года и перелетают в те страны, где им хорошо и удобно. Зимой они в теплых странах, где слишком жарко летом, а летом они – в умеренном, где слишком холодно зимой. Так должны были бы поступать и люди. И всем им хватило бы места на земле, если бы они не делили ее на участки и не присваивали их себе, а считали всю землю общей. При помощи огня люди нарушают естественный закон и остаются на зиму там, где холодно, и там, где страдают от этого холода многие из них, у которых нет почему-либо топлива, чтобы добыть огонь. Это зло от огня.

Природа дает человеку готовое питье – воду, и готовую пищу – плоды и ягоды, но люди недовольны этим. Они при помощи огня делают себе из трупов животных вычурные яства и пьяное питье, и те, которые не могут себе доставить это, страдают от лишения, делают преступления, душу свою продают, чтобы достать себе то, что соблазняет их. А между тем рубят на топливо деревья, уничтожают леса, реки от этого сохнут, и земля приходит в расстройство. Это – второе и еще большее зло от огня.

Мало того, люди, незаконно похитившие тайну огня, изошряют свой ум на выдумки, которые якобы полезны человечеству, якобы могут осчастливить его, но на самом деле делают только более несчастным. Все люди не могут пользоваться этими выдумками. Они доступны сравнительно немногим, а остальные мучаются, зачем и они не могут пользоваться всеми этими якобы благами. – А те, которые пользуются, стараются так исхитриться, чтобы пользоваться еще большим. Все хотят быть «как боги», вместо того чтобы оставаться детьми, счастливыми и радостными, как дети. Это – третье и самое большое зло от огня.

Так говорил полоумный музыкант, и Орленев слушал его речи, разумеется, не доверяя им, потому что знал, что музыкант – полоумный и говорит совершенно противное тому, что с детства приучили его, Орленева, считать разумным и хорошим. Но когда он, вернувшись к

себе, остался один в пустых покоях дядиного дома и стал вспоминать слова Гирли, они ему вдруг показались вовсе не такими уже безумными.

«Что же это, – мелькнуло у него, – или и я тоже на пути повреждения рассудка?»

2

Впрочем, Орленев не долго думал о том, что и о чем говорил ему полоумный старик. Какое в сущности было ему дело до этого старика? Ну, встретились случайно, было как будто, правда, что-то странное в этой встрече, – но они разошлись, сейчас же разошлись, чтобы больше, вероятно, никогда уже не встречаться.

Сергей Александрович твердо решил, что больше он ни к Доронину, ни к кому из его компании не пойдет, значит, не может и столкнуться вновь со старым Гирли.

Да и Бог с ним! У него, Орленева, было слишком много теперь своих собственных забот и волнений.

Наутро ему предстояла дуэль. По крайней мере он очень хорошо помнил, что старик Зубов предложил ему развестись поединком и совершенно определенно назначил час и место дуэли. Нужно было быть там в семь часов утра – значит, ложиться спать не стоило. Оставалось каких-нибудь два-три часа до того, как следовало идти, и Орленев счел за лучшее переодеться, вымыться, выпить кофе и потом прямо идти. Но будить слуг было еще рано. Они сами вставали в половине шестого, и можно было подождать, пока они встанут.

Предстоящий поединок несколько не беспокоил Сергея Александровича. Во-первых, он слишком привык к подобного рода историям, во-вторых, старик Зубов вовсе не казался опасным противником. Да если б противник был опасен и серьезен, едва ли Орленев задумывался бы об этом. Сколько раз приходилось ему на своем веку так вот сходить и с искусными, и с неискusными бойцами, и никогда он не задумывался о том, что может случиться с ним потом.

И до сих пор всегда все сходило у него счастливо и удачно. Эта удача заключалась главным образом в том, что не только сам он никогда еще не был ранен на дуэли, но ни разу (и это было для него главное) не пришлось ему нанести своему противнику такое повреждение, которое имело бы серьезные последствия. Он всегда старался поставить сражавшихся с ним лишь в невозможность продолжать поединок и, когда достигал этого, оставался совершенно доволен.

Бывало, когда прежде у него водились деньги и он играл в карты, он волновался гораздо больше за карточным столом, следя глазами за тем, как ложились карты, определявшие проигрыш или выигрыш, чем пред таким пустяком, как поединок.

Теперь для него самое неприятное и заключалось именно в том, что у него не только не было денег, но и не предвиделось возможности откуда-нибудь получить их, да не сегодня или завтра, а вообще в будущем. Обстоятельства складывались так, что в этом будущем относительно своего материального положения Орленев мог предвидеть одну лишь определенность: полное отсутствие всякой надежды на более или менее прочное устройство своих средств. У него теперь ничего не было и ждать ему было неоткуда.

– Как хочешь, так и будь! – повторял он себе, ходя по комнатам в ожидании, пока поднимутся слуги, и разводя руками.

Хуже всего было в этом то, что до сих пор жизнь его слагалась очень удачно, и он совершенно не привык думать о завтрашнем дне.

Мать Орленева скончалась, когда он был еще ребенком. Отец его служил в провинции и не имел никогда состояния, жил жалованьем, которое было однако настолько велико, что вполне хватало на прожитие. Орленев помнил отца и помнил то, как он умер после дол-

гой-долгой болезни. Во время этой болезни к ним приехал дядя и потом, когда отец умер, взял и увез его с собой.

«Сироты Сережи», как стали тогда называть окружающие молодого Орленева, не жалели кругом. Напротив, говорили, что дядя, который берет его к себе, очень богат, что это очень хорошо, что он богат, и что житье Сережи будет куда завиднее прежнего.

И Орленев должен был сознаться, что житье для него началось действительно завиднее прежнего. Дядя увез его с собой в Петербург, потом за границу, в Париж, где и отдал на воспитание.

Сам дядя жил в Париже часто, но всегда наездами. И никогда молодой Орленев не знал наверное, когда дядя уедет или появится вновь. Приезды и отъезды всегда происходили совершенно неожиданно. Иногда дядя после двух-трех месяцев отсутствия вдруг приедет, пробудет всего один день и снова исчезнет надолго; потом вернется и живет целый год безвыездно в Париже... и так всегда.

О том, куда и зачем уезжал дядя, какие собственно были у него дела и чем он занимался, – Сергей Александрович не имел понятия.

Ни разу в жизни, с тех пор как помнил его Орленев, он не видал его ни взволнованным, ни рассерженным, ни особенно радостным, ни особенно печальным. Всегда ровный, тихий и как-то торжественно задумчивый, он сживал бывало в большом кресле у узкого маленького окна старинного домика с садом, который он нанимал в Париже. Когда Сергей Александрович приходил к нему на побывку, то никого не заставлял из гостей у дяди. Казалось, никто никогда не навещал его и сам он нигде не бывал.

Когда в Париже Орленев приходил к дяде, ему подавали отлично приготовленные кушанья и старое вино, способное сделать честь любому столу, но завтракать, обедать и ужинать ему приходилось одному. Когда, что и как ел его дядя, этого он не знал.

Расспрашивать о чем-нибудь, допытываться он боялся, и потому дядя для него был окружен какой-то вызывающей чуть ли не благоговейное уважение таинственностью.

Говорили они мало, но всякое слово, произносимое тихим, уверенным голосом дяди, невольно так и запоминалось.

Какая огромная разница была между величественной старостью и этим стариком, болтливым и легкомысленным, несмотря на свои годы, – Zubовым, с которым сегодня утром придется сойтись Орленеву! Это сопоставление невольно пришло ему в голову.

3

Когда кончились в Париже годы воспитания молодого Орленева, дядя отвез его в Лондон и определил там на службу при русском посольстве, сказав, что будет высылать ему на прожитие достаточную сумму денег, благодаря которой ему не придется нуждаться.

По тому, как легко достиг дядя назначения Орленева в посольстве, и по тому, как он независимо держал себя с важными чиновниками, юноша убедился, что дядя, должно быть, имел кое-где некоторую силу.

В посольстве приняли его очень радушно, и он, оставленный в Лондоне дядей, который распростился с ним надолго, обжился там очень скоро.

Дядя в Лондоне более не появлялся. Деньги Орленев получал исправно и жил припеваючи.

Так продолжалось до тех пор, пока не пришло известие из Петербурга о смерти дяди. Сергея Александровича вызвали в Петербург для получения наследства, потому что единственным законным наследником дяди являлся он. Делать было нечего: как ни хорошо жилось в Лондоне, нужно было вернуться в Россию для устройства дел. И Орленев вернулся.

В Петербурге он нашел опустелый дядин дом на Фонтанной, где было человек десять дворни – и только. Ни денег, ни поместий, ни даже бумаг никаких покойный не оставил. Как, чем он жил и откуда брал ту «достаточную» сумму, которую высылал в Лондон, осталось совершенно неизвестным. Дом был, несмотря на множество новых домов постоянно строившегося Петербурга, времен еще петровских, значит, возведенный по крайней мере лет семьдесят пять тому назад. С тех пор если он и ремонтировался, то плохо. Мебели и ценных вещей в нем не нашлось.

Таким образом, Орленев, утешавший себя мыслью при возвращении своем из Лондона, что он по крайней мере теперь – самостоятельный и обеспеченный человек, совершенно ошибся в своем расчете и оказался владельцем, в чужом и малознакомом ему Петербурге, готового развалиться старого здания, едва пригодного для житья, да десяти человек дворни, которую нужно было кормить и одевать точно так же, как дом ремонтировать. Кроме того нужно было и самому есть что-нибудь.

У Орленева оставалось еще немного денег из занятых в Лондоне на дорогу, и это было все, чем он мог располагать. И никого знакомых, никого родных.

Случайно он на второй же день своего приезда, когда пошел осматривать город, встретился в кондитерской у Гидля с Дорониным, разговорился с ним. И тот добродушно пригласил его к себе вечером.

Этот скучный вечер, с которого Орленев давно бы ушел, не будь там немца-музыканта, кончился столкновением со стариком Zubовым, отцом всесильного Платона Zubова, принявшего от Безбородко управление иностранными делами и являвшегося таким образом непосредственным начальством Орленева, служившего при посольстве.

И скверно тут было еще то, что Орленев не успел даже представиться Платону Zubову.

Впрочем, он и без того решил уже подать в отставку, которая была необходима для него ввиду денежных затруднений.

«Если даже продать дядин дом со всем скарбом, – рассуждал он, – то выручка окажется все-таки слишком незначительной; придется жить одним жалованьем, а для житья в Лондоне при посольстве этого жалованья далеко не хватит».

Волей-неволей приходилось оставить службу.

4

Все эти соображения и воспоминания проходили путаной вереницей в голове Орленева.

Спать ему вовсе не хотелось. Непривычный свет белой петербургской ночи окончательно разогнал ему сон, и он ходил, заложив руки за спину, вдоль ряда чуждых ему, не родных, не таких, с которыми он сжился, комнат дядина дома.

Первая из них, как войти с лестницы, была обита когда-то красной, теперь совсем выцветшей, камкой с деревянной панелью; в ней же стояла кафельная печь на золоченых ножках. Здесь стояли по стенам с плетеными из соломы сиденьями стулья, такие же потемневшие от времени, как пол, панель и деревянный потолок этой комнаты.

Двустворчатая стеклянная дверь вела отсюда в зал, довольно длинный, в четыре окна, с панелью из цветной вошанки, с дубовыми скамьями вдоль стен, со стеклянной люстрой в шесть свечей, с узенькими, составленными из трех кусков, зеркалами между окон, большой синей кафельной же печью и двусвечниками по углам.

Дальше шла столовая. Посредине ее стоял стол с крыльями и двумя скамьями по бокам. Против окон были оштукатуренный камин и дверь в коридор. В простенке стояли часы.

За столовой была спальня, вся выбеленная (потолок и стены), с двумя печами по углам и с деревянной, с зеленым шелковым выцветшим балдахином, кроватью, закрытою высокими китайскими ширмами.

Здесь умер дядя, и эту комнату Орленев оставил неприкосновенной. Он поселился в последней, угловой, за спальней, горнице, где стояли большое кресло дяди, бюро, оказавшееся совсем пустым, и шкаф с книгами.

Орленев в первый же день приезда бегло осмотрел эти книги. Они были все петровских времен и очевидно принадлежали не дяде, а предшествовавшему хозяину.

«Ну, что тут выручишь, куда все это годно?» – спрашивал себя Сергей Александрович, может быть, в сотый раз, шагая вдоль этих комнат и снова возвращаясь к себе в угловую, которая была ему симпатичнее других, потому что была обставлена привезенными им с собой вещами и все-таки казалась похожей на жилую комнату.

Он опустил на свою дорожную, устроенную здесь, кровать, положил локти на колени, закрыл лицо руками и задумался.

Все те же и те же мысли шли ему в голову.

Он отнял руки от лица, открыл глаза, чтобы отогнать эти докучные мысли, но головы не поднял. В этом положении его взоры остановились на углу нижнего корпуса книжного шкафа. На этом углу было небольшое колесико. Орленев глянул на другой угол – там точно такое же! Значит, шкаф был так устроен, чтобы отодвигать его.

Сергей Александрович (ему это показалось очень интересным) встал и сейчас же попробовал отодвинуть шкаф. – На приделанных к нему колесиках тот отодвигался очень легко, так что повернуть его мог бы свободно и человек гораздо менее сильный, чем Орленев.

Отодвинув шкаф, последний, разумеется, заглянул за него. Сделал он это почти по инерции, не соображая особенно, зачем, и не думая о том, что может быть за шкафом. По всей вероятности – ничего!

Так оно и вышло. За шкафом не то что ничего не было, но ничего интересного не было там: оказалось, на стене, закрытой шкафом, была вделана доска, довольно больших размеров, почти хватавшая до самого пола, и на этой доске была изображена одним выжженным контуром женщина, увенчанная тиарой, с полумесяцем наверху, покрытая прозрачной вуалью, с отверстием книгой в руках, которую она прятала наполовину под мантией. С одной стороны ее была черная колонна, с другой – красная. Внизу виднелась подпись на латинском языке:

«Да проявится правда, и благо мне будет! И если человек обладает настоящей волей, он увидит свет правды и достигнет блага, которого ждет. Стучись – и тебе отворят, но прежде изучи прилежно путь, по которому идешь. Обрати лицо твое к солнцу правды, и познание истины тебе будет дано. Храни в тайне свои намерения, чтобы не дразнить ими людского противоречия!»

Орленев оглядел это изображение, прочел подпись, улыбнулся, потрогал доску (она крепко сидела в стене), даже постучал в нее и, задвинув шкаф на место, вернулся к своей кровати. Он не хотел вникать в смысл этой подписи, которую он, свободно читая по-латыни, понял от слова до слова.

И доска, и надпись, и то, что она была закрыта устроенным на колесиках шкафом – все это было чрезвычайно похоже на дядю. Так он и видел именно его. В этой надписи дядя, казалось, выразился весь.

«А что говорит эта подпись, как там было сказано? – вдруг подумал он, сев на кровать. – Помощью воли пред разумом развертываются стороны жизни. Если воля здравая, – начал припоминать он, – нет, кажется не так...»

Сергей Александрович сделал усилие мысли, чтобы вспомнить, были эти слова надписи или они пришли ему в голову откуда-нибудь из другого места. Немец-музыкант под

свою игру на клавиринах сегодня мурлыкал стихи, в которых тоже говорилось о воле. Воля! Чтобы быть сильным волей, нужно уметь желать, а были ли у него, Орленева, справедливые желания, было ли у него хоть что-нибудь в жизни, что заставляло действовать?

III. «Она»

1

Это было три года назад. Орленев жил уже в Лондоне. Тогда, в октябре 1788 года, разнеслась по Англии весть, что король Георг III болен, что он сошел с ума и не может более принимать участие в делах правления. Во главе этого правления стоял Вильям Питт младший, красноречивый оратор парламента. Противная ему партия вигов торжествовала уже свою победу, рассчитывая, что теперь наступит несомненное падение этого государственного человека, лишившегося главной своей поддержки – короля.

Питт, открывая парламент, должен был объявить о постигшем короля несчастии, и сессия открылась без установленной обычаям тронной речи. Он предлагал парламенту образовать комиссию, которая разыскала бы исторические документы и установила бы на основании их, как следовало поступать в настоящем случае. Виги протестовали. По их мнению, так как король был не в состоянии управлять страной, власть должна была перейти к наследнику престола. Они настаивали на этом потому, что знали, что наследник на их стороне. Однако в первое заседание Питту удалось оттянуть решение дела, и после того он четыре месяца держался, пользуясь неопределенностью положения.

Вопрос, перейдет ли власть к наследнику и, значит, восторжествуют виги, или будет составлено регентство и у власти останутся по-прежнему тории, с Питтом во главе, – оставался открытым. Лондон был в волнении, а за ним волновалась вся Англия.

Однако, по истечении четырех месяцев, тянуть дальше оказалось невозможным. Было назначено последнее, решительное заседание парламента, чтобы непременно прийти к какому-нибудь результату.

В день этого заседания с самого раннего утра толпа народа стала собираться к зданию парламента. Счастливики, получившие доступ туда, с трудом пробирались сквозь густую массу народа, сходявшегося со всех концов и желавшего хоть на улице узнать результат совещания.

Общее настроение было склонно к тому, что Питту несдобровать. Говорили, что у него собственно нет никаких ресурсов, чтобы поддержать выставленное им положение, и что партия вигов по-видимому стоит на более законной почве.

Интересно было то, что Питта, одного его, противопоставляли целой партии, хотя он на самом деле являлся лишь главой ториев. Но так и говорили: «Питту несдобровать, виги восторжествуют».

Много тут было приверженцев той или другой партии, но гораздо больше было таких, которые волновались предстоящим решением вопроса, относясь почти безразлично к тому, победят ли виги, или Питт останется у власти, но интересуясь просто узнать результат, на чьей стороне останется победа, как на скачках, где одна лошадь должна прийти раньше другой.

И тоже, как на скачках, держали пари. Однако среди державших за вигов были люди, вовсе не симпатизировавшие им, но желавшие лишь выиграть ставку.

За бедного Питта мало было охотников держать, несмотря на всю его популярность. Действительно, трудно было даже предположить, какой способ может он найти, чтобы извернуться при всем своем красноречии.

– Нет, кажется, все право на стороне вигов! – говорилось в толпе, за них ставили крупные суммы.

– То есть не право, – возразили сторонники ториев, – права у них нет, но вероятно победа останется на их стороне, – и тоже держали за вигов.

За Питта ставили на авось, отвечая иногда всего лишь половинной ставкой.

Политические страсти и азарт игры разгорались в толпе, и она валила к парламенту, стягиваясь мало-помалу к одному, интересовавшему всех, центру. Тут были и мужчины, и женщины.

К началу заседания толпа стала так велика, что члены парламента не могли подъехать к воротам в экипажах и должны были пробираться пешком. Казалось, весь Лондон собрался здесь, но это казалось только, потому что народ все прибывал и прибывал, и толпа росла непомерно.

Орленев тоже пошел. Он мог бы попасть вместе с посольством в парламент, но ему хотелось лучше поглядеть на народ, на это его своеобразное участие в государственном деле. Ему нравились это оживление, говор, это забвение на сегодняшний день своих личных интересов в этой толпе, жужжавшей об одном и том же на разные лады.

– Началось заседание?

– А, что?.. Говорит речь, кто говорит речь?

– Питт проехал... Где он, Питт? Он там, в парламенте?

– Несдобровать ему сегодня.

– Говорят, он вовсе не покажется, потому что ему сказать нечего.

– Ну, найдет, что сказать – не такой человек, чтобы потеряться.

– Больным, говорят, казался.

– А вот узнаем... Да заседание-то началось?

Орленев, увлекаемый толкавшими его сзади, волей-неволей двигался вперед, чувствуя, что ему становится все теснее и теснее и что с каждым шагом движение становится затруднительней.

2

Несколько раз Сергея Александровича сжимали так, что ему дышать становилось трудно, захватывало дух, и он должен был делать невероятные усилия, чтобы освободиться из давивших его живых тисков. Но на него не обращали внимания, жали и толкали его, и шумели, и кричали на чужом ему английском языке, шипящие и свистящие звуки которого окончательно сливались для него теперь в одну нестройную массу.

И вдруг среди этого чуждого ему говора он ясно услышал произнесенные по-русски слова:

– О Господи!

Орленев обернулся, ища глазами, кто мог произнести эти слова. Большинство русских, бывших в Лондоне, он знал, но возле него теперь не было знакомого лица.

«Верно послышалось», – подумал он, а в то же время взоры его остановились на молоденьком, хорошеньком личике стоявшей несколько впереди его девушки.

Их отделяло друг от друга всего несколько человек.

Она стояла и беспомощно оглядывалась кругом, как бы ища защиты от охватившей ее со всех сторон толпы.

– О Господи! – повторила она.

На этот раз Сергей Александрович не мог уже ошибиться. Теперь он не только слышал родную себе речь, но и видел движение тех губ, которые произнесли русское слово. Он почти инстинктивно сделал усилие пробраться к ней и, сам не чувствуя как, сейчас же очутился возле нее.

– Вы – русская?

Девушка отшатнулась и испуганно глянула на него, но робость, с которой сделал он свой вопрос и видимое желание помочь ей, а главное – невольное восхищение, так и блеснувшее в его глазах, когда он обратился к ней, сейчас же успокоили ее. По одежде, по манерам она увидела в нем порядочного человека, готового защитить ее, если нужно.

– Я потерялась в этой толпе, – ответила она, – потеряла свою компаньонку... и не могу вернуться...

Орленев понял, что ей нужно было высвободиться из этой толпы, и, взяв ее за руку, повел, сам не зная еще, удастся ли ему вывести ее. Однако оставаться на месте было еще хуже, и он повел ее, то расталкивая загораживавших им дорогу, то уговаривая пропустить их.

Они подвигались с таким трудом, что, несмотря на невероятные усилия, едва могли сделать несколько шагов, как принуждены были остановиться. Идти против напиравшей толпы было невыносимо.

В это время с той стороны, где было здание парламента, раздался сначала сдержанный, потом вдруг разросшийся гул; толпа колыхнулась, задвигалась, заговорила и зашумела.

– Что, что такое? – раздавалось кругом.

– Питт... Вильям Питт...

– Что Питт? Что он сделал?

– Питт победил, Питт победил! – кричали в передних рядах, и этот возглас эхом перемещался дальше.

Оказалось, что те, кто рассчитывал на шансы вигов, не предвидели одного самого простого случая: выздоровления короля. И Питт победил без речей, без особых комбинаций, просто благодаря тому, что имел возможность объявить о выздоровлении короля.

– Король выздоровел... Питт победил! – кричали теперь кругом и волновались, и двигались.

Орленев не слушал уже, что происходило кругом; ему теперь было совершенно безразлично, что объявил Питт; ему важно было только одно – беречь и вывести из толпы невредимой девушку, руку которой он чувствовал в своей руке и взгляд черных глаз которой был перед его глазами, хотя он и не смотрел на нее.

Он почти подхватил ее в общей сумятице и суматохе, кинулся наугад куда-нибудь, лишь бы действовать и двигаться, кинулся с такой стремительностью, что скорее, чем думал, очутился, подхваченный потоком толпы, в улице и мог свернуть в ворота первого попавшегося дома.

Теперь, когда они были в безопасности, он еще раз оглянулся на девушку, и она показала ему в своем смущении еще не совсем исчезнувшего страха еще лучше, чем прежде.

Он назвал ей себя, сказал, что служит в русском посольстве и что она может быть совершенно покойна, что он проведет ее к дому, где она живет.

– Только вы мне скажите, где вы живете? – спросил он.

Девушка не знала ни названия улицы, ни даже квартала, где она жила, потому что в Лондон приехала впервые в жизни несколько дней тому назад со своей компаньонкой-француженкой, владевшей немного английским языком. Сама она не говорила по-английски. Они вышли сегодня с компаньонкой пройтись по незнакомому городу, чтобы посмотреть его, увидели много людей, шедших все в одном направлении, пошли за ними из любопытства, попали в толпу, и толпа их разделила.

– А кроме компаньонки, с вами никого нет в Лондоне? – спросил Сергей Александрович.

– Никого.

– Где же ваши? Где ваша семья?

Девушка не ответила и, опустив глаза, стояла молча.

– Где же ваш отец, мать? – переспросил Орленев. Она снова не ответила.

– Простите, – заговорил он опять, – но мне нужно знать ваше имя, чтобы помочь вам найти в посольстве ваш адрес. Там можно узнать. Нужно только ваше имя.

Девушка стояла, все опустив глаза, и тихо, так тихо, что едва слышно было, проговорила наконец:

– Имя свое и кто я – я не могу вам сказать.

В этом слове «не могу», в том, как она произнесла его, были и полная беспомощность, и просьба простить ее за то, что она не может и не должна называть себя.

Девушка была мила в это время, мила так, что Сергей Александрович готов был все сделать и всему подчиниться, что она только захочет.

– Не можете? – удивленно воскликнул он. – Но отчего же?.. Как же тогда я доставлю вас домой?

Она не улыбнулась, но только глянула на Орленева.

«Нет, она не может лгать, – подумал он при этом ее взгляде, правдивом и милом, – значит, так надо, значит, я не имею права знать, кто она».

И вдруг при этом он почувствовал, что сердце его сжалось так болезненно, точно он в эту минуту навсегда лишился любимого, дорогого и близкого существа.

На улице в это время толпа поредела, можно было идти дальше. Орленев решил все-таки отвести девушку в посольство.

– Вероятно, ваша компаньонка догадается прийти туда, – пояснил он.

– О да, верно, она догадается! – машинально повторила она.

И вплоть до посольства они шли, не проронив более ни одного слова.

3

У дверей посольства они встретили бледную, растерянную француженку; та, вскрикнув от радости, кинулась к ним и, точно убегая от погони, быстро исчезла вместе со случайной спутницей Орленева, не сказав даже хоть слово в благодарность ему.

С тех пор прошло довольно много времени, но образ случайно встреченной девушки не оставлял Орленева. Ни одно хорошенькое личико, виденное им впоследствии, не могло для него сравниться с ней, да и до встречи с ней он тоже не видел лица лучше ее.

С ним случилось то, что бывает обыкновенно со всеми влюбленными.

Эта девушка – потому что именно она понравилась ему – казалась ему таким чудом красоты, точно это был тот идеал небесный, к которому он стремился отродясь и который вдруг явился ему на земле. И для него она явилась не такой, как была на самом деле, а такой, какой он представил себе ее.

Случайность и мимолетность встречи, некоторая загадочность и таинственность, которыми она была окружена при этом, способствовали еще более усилению впечатления. Все остальные встреченные им в жизни девушки были на взгляд Орленева простыми, земными, добрыми или злыми существами, но она, та, виденная всего лишь какие-нибудь полчаса, была исключительным, нездешним существом, о котором он стал грезить не только во сне, но почти наяву.

Полчаса, проведенные с ней в Лондоне, стали для него самым дорогим воспоминанием в жизни.

То, что он вероятно никогда не встретит ее больше и никогда не узнает даже, как ее зовут, и то, что сама она забыла, может быть, и думать о нем, нисколько не смущало его. Напротив, так и должно было быть. Разве на солнце можно смотреть безнаказанно? Ведь можно только чувствовать его блеск и теплоту... И Орленев воображал, что согрет на всю жизнь светом той девушки.

Иногда она являлась к нему во сне, окруженная блестящим ореолом.

Но ни разу в жизни он не видел ее так ясно, как теперь. Она была пред ним. Ослепительные лучи блеснули кругом ее, точно она явилась центром самого солнца. Над ее головой венцом горел круг двенадцати звезд. Чего фантазия не представит иногда? В правой руке она несла орла, в левой – жезл с глобусом на конце. Ногой она опиралась на полумесяц.

«Желать возможного, – говорила она ему, – все равно что уже созидать его, желать невозможного и безумного значит стремиться к разрушению и гибели».

«Да, да, это правда», – повторял себе Орленев, чувствуя, что глаза его слепнут от яркого света.

Он сделал усилие, поднял веки, и солнечные лучи, ударившие через окно прямо ему в лицо, действительно ослепили его.

Он отвернул голову и понял, что заснул, сидя у себя на постели.

Он, точно электрическая искра ударила его, вскочил на ноги. Неужели пропущено им назначенное для дуэли время?

Часы в столовой зашипели и пробили шесть.

Орленев знал, что они отстают по крайней мере на полчаса; все-таки он имел полную еще возможность позвать слугу, умыться, переодеться и не торопясь отправиться к недалеко от его дома строившейся церкви на Фонтанной.

IV. Человек, сидящий на камне

1

Орленеву не трудно было найти дорогу одному, без провожатого. Нужно было идти налево от дома, по берегу Фонтанной и вплоть до небольшого леска, где среди нескольких низеньких домиков производилась постройка.

День был праздничный. Сергей Александрович знал, что там рабочих не будет и дуэль может состояться без посторонних свидетелей.

Впрочем, в эту минуту он вовсе не думал о ней. Он шел довольно равнодушно, следя однако глазами за тем, как три мужика, влегшись в лямки, тянули баржу по реке, как на той ее стороне бабы полоскали белье, корова паслась, щипля траву, по отлогому берегу, и ему почему-то было досадно, глядя на эту проснувшуюся деревенскую жизнь еще не ставшего вполне городом Петербурга. Ему досадна была эта деловитость, с которой не только мужики тянули баржу и бабы полоскали белье, но даже корова и та щипала траву как-то с полным сознанием того, что она делает. Между тем сам он не знал, решительно не знал, что начать и к чему приступить.

«Кажется, сюда?» – вспомнил он, подойдя к леску, и свернул от реки.

Между жидких стволов виднелись уже выведенные стены церкви с лесами вокруг них.

Орленев пошел туда через лес наперекоски. Он был уверен, что придет первым, но на всякий случай оглянулся: не видно ли где поблизости кареты, в которой мог приехать его противник. Кареты не было. У постройки же, в том самом направлении, куда шел Орленев, сидел на камне человек, скрестив ноги. Фигура его сразу показалась знакомой.

«Да это Гирли, – сообразил Орленев, узнав старика, – вчерашний музыкант! Но зачем он здесь и что ему нужно?»

Он приостановился, не зная, идти ли ему вперед? Возвращаться было все равно нельзя: он обещал быть вовремя на месте, и вежливость требовала, чтобы он был там.

Однако присутствие полоумного старика уж ни с какой стороны не подходило к тому делу, для которого пришел сюда Орленев.

«Нужно во что бы то ни стало удалить его, – решил он, – а то только помешает!»

– А я вас жду, – встретил его Гирли еще издали, как только заметил его.

– Вы ждете меня? Зачем? – удивился Сергей Александрович, подходя и здороваясь со стариком.

– А вот именно по тому делу, по которому вы пришли сюда.

– То есть как по тому делу? Вы разве слышали вчерашний разговор?

– Слышал!

– Зачем же вы пришли сюда? – спросил Орленев поморщившись.

– Потому что меня прислали. – Старик сидел на своем камне, не меняя положения скрещенных ног, и смотрел совсем серьезно на Орленева. – Камень, – сказал он вдруг, – есть побежденная материя: видите, он имеет совершенную форму куба. А это, – он показал на свои ноги, – знаете ли вы, что это такое? – Он снова глянул на собеседника и тут же продолжал: – Это – символ человеческого могущества, которое имеет четыре выражения... Да, – добавил он по-прежнему серьезно, – четыре выражения в трех измерениях бесконечности. Я говорю о высоте, ширине и глубине...

Камень, на котором сидел Гирли, был действительно кубический, плотно лежавший на земле, но от этого Орленеву не было легче и странные слова старика не стали яснее. Он, не

заметивший вчера в нем ничего такого, что ясно выказывало бы его полоумие, теперь сразу увидел, что рассказы о повредившемся рассудке Гирли были вполне справедливы.

«Бедный старик!» – невольно мелькнуло у него, и он улыбнулся Гирли, как улыбаются детям, а затем мягко спросил:

– Зачем же вас прислали сюда?

Но старик ответил опять бессмыслицей:

– Чтобы я вам показал камень и что нужно сделать для того, чтобы держаться на нем. Толка, очевидно, трудно было от него добиться.

Орленев несколько беспокойно огляделся кругом: не идут ли те, кого ждал он? Действительно, вышло бы как-то неловко, если и вовсе не смешно, что они могли застать его здесь в беседе с полоумным музыкантом, солидно усевшимся на своем «кубическом» камне со скрещенными ногами.

– Вы не оглядывайтесь, – сказал опять старик, как бы поняв движение молодого человека, – они не придут!..

– Кто «они»? – вырвалось невольно у того.

– Те, кого вы ждете.

– То есть как не придут? Почему вы знаете это?

– Знаю, потому что меня послал старик Зубов передать вам записку.

Орленев так и остановился, пораженный удивлением.

– Старик Зубов просил вас передать мне записку? Где же она?

Гирли не торопясь достал из кармана сложенную и запечатанную записку на синей бумаге и подал ее Сергею Александровичу. Тот распечатал и прочтя глазами своим не поверил.

Зубов писал, что он – не мальчишка или какой-нибудь безрассудный фендрик, чтобы так, зря, здорово живешь, драться с первым встречным, и что принять это всерьез мог только такой полупомешанный, как Орленев, а потому он, Зубов, и посылает к нему полоумного музыканта, с которым-де они и могут поговорить по душе, если желают. А большего Орленев недостоин и должен быть рад, что не поплатится за свою вчерашнюю дерзость более серьезным образом.

Это была наглая, до цинизма грубая насмешка, за которую Орленев даже отплатить не был в силах. Он скомкал записку, с сердцем бросил ее наземь и повернулся, чтобы уйти. Не оставаться же ему было с этим, видимо, лишенным рассудка стариком!

2

– Пойдите, куда же вы? – услышал Сергей Александрович за собой голос старого Гирли, когда собрался уходить.

Он обернулся, но не потому, что услышал оклик музыканта, а для того, чтобы спросить, когда собственно этот Зубов дал старику свою записку.

– Вы когда получили поручение от Зубова передать мне это? – показал он на валявшуюся на земле скомканную записку. – Вчера еще или сегодня утром?

– Не все ли вам равно? – спросил Гирли.

– Нет, не все равно. Неужели, если записка была вчера у вас в кармане, когда вы догнали меня, возвращаясь от Доронина, вы не могли тогда же отдать ее мне?

– Зачем?

– Хотя бы для того, чтобы я имел еще время вернуться и сказать этому Зубову, что так нельзя поступать.

– И наделать глупостей, – подхватил старик.

Орленев остановился. Он вспомнил опять, что старик полоумный и сердиться на него нельзя.

– Погодите, – продолжал Гирли, – вам спешить некуда. Я отдал бы вам записку еще вчера, если бы это было нужно. Но не в этом дело...

Несмотря на очевидную якобы нелепость некоторых слов и выражений этого старика, голос его был такой разумный по интонации и глядел он так умно и ясно, что можно было минутами забыть его полоумие.

– В чем же дело? – спросил Орленев возвращаясь. Гирли, пристально поглядев на него, сказал: «А вот сядьте!» – и показал на лежащий возле такой же, на каком сам сидел, камень, после чего продолжал, когда Орленев сел:

– Вы обижены, в вас теперь злоба кипит, вы даже на меня готовы сердиться...

У Сергея Александровича, правда, кипела на сердце горечь незаслуженной, «подлой», как он мысленно выражался себе, насмешки, и он лишь проговорил сквозь зубы:

– Я на вас не сержусь!

– Значит, сердитесь на того, кто обидел вас? Но послушайте! Обиды не создал Господь, а всего, чего не создал Он, – нет; значит, и обиды не может быть.

– Как же нет обиды, когда я чувствую ее?

– Вы чувствуете не обиду, а сердитесь, потому что с вами сделали то, за что у людей принято сердиться друг на друга. Заметьте: «у людей принято», то есть они как бы сговорились – давайте, дескать, сердиться в таких вот случаях. Ну, а вы станьте выше этого, не подчиняйтесь этому обычаю и увидите, что сердиться не на что. Условьтесь сами с собой в противном. Вот и все.

Орленев задумался. Опять в словах старого музыканта было что-то если не совсем такое, с чем можно было согласиться тотчас же, то во всяком случае можно было считать это хорошим, что не было дурно.

– Да, – возразил Сергей Александрович, – ударят тебя в правую – ты подставь левую щеку. Так поступают святые... Но я – не святой!

– Во-первых, почему вы словно с какой-то гордостью заявляете, что вы не святой? Каждый человек путем испытания может добиться, если захочет, и святости. Во-вторых, я вовсе не о том, не о евангельском тексте говорю. Я говорю, что ничего нет легче уничтожить устроенное самими людьми, не существующее на самом деле, то есть обиду.

Не смысл слов старика, идущий вразрез всему тому, что с детства внушали Орленеву, но его тихий голос и какая-то словно торжественная размеренность речи действовали успокоительно-властно.

Солнечное летнее утро сияло приветливо кругом, деревья весело зеленели, река сквозила своей серебристой поверхностью между их стволов, и в воздухе было так тихо и радостно, что сердиться и волноваться было как-то в самом деле не к месту... И это ли утро, или успокоительная речь старика, или то и другое вместе подействовало на Орленева.

– Хорошо, – сказал он, начиная рассуждать с полоумным Гирли, как с человеком, вполне обладающим рассудком, – хорошо, я, пожалуй, могу иногда взять на себя, подавить в себе, скажем, обиду. Но ведь это не удастся же всегда и во всех случаях жизни.

– Ничто не может противостоять твердой воле, руководимой знанием правды и справедливости, – проговорил Гирли, – и бороться за их осуществление – не только обязанность, но и долг каждого человека. Победитель в этой борьбе исполняет лишь свою задачу...

– Да, но не всегда можно выйти победителем.

– Нет, всегда. Ничто не может помешать человеку, стремящемуся к правде.

– А обстоятельства? Ну, бедность, например! Иногда она мешает человеку так, что он не в силах побороть ее.

Орленев сказал это под впечатлением того, о чем думал сегодня один у себя дома. Бедность, о которой он упомянул и о которой думал, надвигалась на него.

– Бедность, – подхватил старик, – бедность! Вы боитесь бедности, а не с радостью встречаете ее? Бедность вам может принести такое богатство, о котором вы и не мечтаете – богатство мудрости. Кто мудр, тот богаче богатых, богаче царей земных. Человек, живущий в довольстве, трудно воспринимает уроки жизни, и потому он несчастнее бедного. Вот вы в Англии жили – слышали, верно, о знаменитом Роберте Клайве?

Орленев не обратил внимания на то, что старик, оказывалось, знал, по-видимому, многие подробности о его жизни, и в эту минуту ему не показалось это странным.

История лорда Клайва, основателя английского могущества в Индии, бывшего там губернатором и вернувшегося в Англию с несметными богатствами, устроителя «Индийской компании», была известна Орленеву.

– Да, я конечно слышал о Клайве, – ответил он, – и знаю, что он кончил жизнь самоубийством.

– Ну вот видите! Значит, несмотря на все его богатства, жизнь все-таки была тяжела ему, если он решился на такое безобразное дело, как самоубийство. Да один ли Клайв? Человек, – продолжал говорить Гирли, и теперь уже Орленев внимательно слушал его, – независимо от того, богат он или беден, одинаково сгибается под тяжестью своих привычек и материальных благ, если поддается им. Вот вам наглядный пример. Попробуйте поднять этот камень и нести его. И тяжело вам, и неудобно. Посмотрите, он – кубический, а это самая неудобная форма, чтобы нести ее. Но зато как твердо и прочно вы можете сесть на него, как плотно прилегает он к земле! Так и материальные блага. Взвалите их себе на плечи, попробуйте быть слугой мамоны, и как тяжело вам будет! Но победите ваши желания, подчините себе материю, и вы будете тверды, и ничто не в силах будет поколебать ваше положение. Богатому и бедному одинаково тяжело под бременем материальных привычек и стремлений.

Странный человек был этот старик! То его слова отдавали несомненным безумием, то как будто в них таился глубочайший смысл. Звали его «немцем», а сегодня весь их разговор шел на французском языке, и Гирли не только вполне правильно владел этим языком, но даже выражался на нем с некоторой изысканностью.

– Все это прекрасно, – начал говорить в свою очередь Орленев, – хорошо рассуждать так вот вообще. Но есть положения, из которых почти невозможен выход.

– Таких положений нет и не может быть!

– Ну, вот, например, мое теперешнее, – проговорил Орленев.

Философия старика навела его снова на мысль о себе, и он уже сказал вслух то, что подумал, как бы не заботясь о том, с кем и как говорил.

– Ну, что же ваше теперешнее положение? Вы думаете, что вы зависите от человека, с отцом которого вчера говорили крупно? Вы думаете, что зависите от Платона Зубова?

«Откуда он знает это?» – невольно пришло в голову Сергею Александровичу, и он вопросительно поглядел на старика.

Тот сидел спокойно и уверенно глядел на него, ожидая ответа.

– Да, я завишу от него, – ответил Орленев по инерции, – всецело завишу от него, потому что он – мой начальник теперь.

– Поищите другого.

– Другого, но кого?

– А вот видите ли: истина получается от аналогии противоположностей. Запомните это правило раз навсегда: оно имеет слишком частое применение в нашей жизни.

«Опять он начал что-то запутанное!» – подумал Орленев.

Но старик сейчас же объяснил свои слова:

– Вы думаете, что ваша будущность зависит от более сильного, чем вы сами? Ищите этого сильного. Зубов для вас – зло, но зло есть тень добра, которое является светом. Где есть свет – там есть тень, где есть зло – там должно быть и добро. Попробуйте найти вместо

Зубова другого человека, его противника, или – вернее – того, кому он противник. Неужели я говорю не ясно?

Орленев понял наконец, о ком ему говорили.

– Потемкин! – произнес он. – Но ведь он меня не знает; как же я пойду к нему?

– Попробуйте!

– То есть как попробовать? Идти так вот прямо к нему?

– Прямой путь всегда самый лучший. Отчего вам не идти прямо к светлейшему и не откладывая даже, прямо сегодня? Идите домой, пошлите за каретой, переоденьтесь и поезжайте.

– Но он может не принять меня.

– Что ж такое? Тогда еще раз поезжайте. Нужно быть деятельным; нужно работать, чтобы получить что-нибудь, нужно делать дело. Разве нет у вас цели в жизни?

Орленев отвернулся и стал глядеть в сторону молча.

Какая в самом деле была цель у него в жизни? Был он один-одинешенек на белом свете – ни родных, ни близких. Чего он мог достичь? Ну, в крайнем случае, места с жалованьем, которое дало бы ему сносное существование, женитьбы на приличной девице, которая растолстеет после свадьбы и народит ему кучу детей... Вот и все – вот что может ожидать его впереди!

Гирли в это время тихо поднялся со своего места и, слегка наклонившись к Сергею Александровичу, проговорил:

– А помните Лондон, толпу и в этой толпе ту, о которой вы грезили потом несколько раз?

Пораженный, ошеломленный Орленев взглянул на него и мог только прошептать задрожавшими от охватившего его волнения губами:

– Да кто же вы? Да кто же вы такой, что можете знать это?

Гирли улыбнулся теперь ему в свою очередь.

– Я – полоумный музыкант! – ответил он и, прежде чем успел Орленев опомниться, повернулся и пошел от него.

Сергей Александрович провел рукой по лицу, огляделся, видел удаляющуюся фигуру старика, хотел кинуться за ним, остановить его, но ноги не повиновались ему и сердце так билось, что он невольно схватился за него. Он не мог двинуться.

Когда он пришел в себя и вполне оправился – старого Гирли уже не было видно. Он исчез за деревьями.

V. Потемкин

1

То, что он делал в этот день, и все, что случилось с ним, Орленев помнил потом точно в каком-то тумане.

Он вернулся домой и, как будто находясь под давлением чужой воли, распорядился точно так, как внушал ему старик. Он послал сейчас же за каретой, велел подать себе лучший кафтан и камзол, натянув шелковые чулки, надел туфли с пряжками, выбрал кружево, и не успела еще приехать карета, как он, уже вполне готовый, напудренный и причесанный, ждал ее, ходя по комнатам.

«Ехать так ехать», – говорил он себе, невольно улыбаясь и вспоминая рассказ про попу-гая, который кричал это, когда его тащила кошка.

Карета приехала. Орленев накинул плащ от пыли, вышел на крыльцо, уселся в экипаж и велел везти себя в Таврический дворец.

По дороге он ощущал то самое чувство, которое испытывает человек, ожидающий выигрыша или проигрыша ставки на карте. Только когда карета въехала на укатанный песком большой двор дворца, ему стало немного жутко, но возвращаться было уже поздно.

Карета остановилась у подъезда, и два гайдука, выскочив из стеклянных дверей его, откинули подножку кареты, распахнули дверцу и под руки высадили Сергея Александровича. Пока все это было хорошо.

Орленев вошел в подъезд и очутился в широких с колоннами сенях, уставленных цветами и растениями, между которыми играла на косых, падавших в высокие окна лучах солнца струя фонтана.

Толстый швейцар в расшитой галунами ливрее заступил ему дорогу.

– Что, светлейшего... можно видеть? – спросил Сергей Александрович и по своему неуверенному тону, которым он сделал свой вопрос, уже заранее предчувствовал ответ.

Швейцар оглядел его, потом, как-то скривив шею, посмотрел ему прямо в глаза и, качнув головой, проговорил:

– Нет!

Орленев покраснел. Ему было совестно тех гайдуков, что высадили его из экипажа, и тех еще, которые стояли тут, в сенях. Их было много, и все они были в богатых ливреях. Он переступил с ноги на ногу и вдруг резко повернулся, как бы в подтверждение того, что он, дескать, и знал, что так будет, и незачем было приезжать.

– Да кто вы будете? – спросил его швейцар.

Александрович почувствовал, что последний прав. Уехать, не назвав себя, точно, этого нельзя было сделать, было неловко и неприлично. Поэтому он обернулся к швейцару и ясно ответил:

– Сергей Александрович Орленев.

Толстое лицо швейцара выразило внимание и некоторое усилие мысли.

– Может быть, доложить секретарю его светлости, господину Попову?

О Попове Орленев решительно не имел никакого понятия.

– Нет, не надо, – ответил он, решив, что из его легкомысленной, как ему казалось теперь, затеи ничего уже не выйдет и что лучше всего уехать поскорей.

Швейцар был видимо в некотором недоумении. Все проходившие через его владения, то есть сени, в святилище оберегаемого им дворца, делились для него на два разряда. Одни –

важные баре, которых он знал всех наперечет и пред которыми нужно было низко раскланиваться и сейчас же сделать распоряжение о докладе, если светлейший принимал; другие – просители. Эти всегда робели при виде его ливреи и окружавших его гайдуков, улыбались заискивающе и просили доложить о себе, если можно, да как-нибудь, и обещали ему благодарность.

Орленев, по своей молодости, а главное потому, что был совершенно по лицу неизвестен, не мог принадлежать к первым. Но и на просителя он не был похож. Он не улыбался, не заискивал, а держал себя совершенно самостоятельно.

Швейцар впал в сомнение: отпустить ли ему этого молодого, как по всему было видно, хорошего барина так, без ничего или посоветоваться с камердинером.

В это время как раз старый камердинер Потемкина в коричневом полуфраке появился в дверях.

Швейцар подошел к нему, проговорив Орленеву:

– Не угодно ли будет подождать. Сейчас-с.

Сергей Александрович видел, как он назвал его камердинеру, как тот оглядел его, наклонив голову, и повернулся к дверям.

– Лучше бы все-таки секретарю доложить, – сказал ему вслед швейцар.

Почти сейчас же после этого из дверей стремглав вылетел мальчишка-казачок и доложил, стараясь говорить басом:

– Просят!

Швейцар поклонился Орленеву и, показывая рукой на дверь во внутренние комнаты, сказал:

– Пожалуйста!

2

С Орленевым с утра сегодня случилось столько странного, столько такого, что не входило в последовательность обыкновенной, повседневной жизни, что он перестал уже удивляться дальнейшему.

Теперь он испытывал почти только одно любопытство, как и что с ним будет, когда шел через парадные комнаты светлейшего, провожаемый казачком.

Его провели через ряд этих парадных комнат и остановили у высокой, тяжелой двери. Дверь растворилась и Орленев вошел в кабинет.

Это была большая, поместительная комната с колоннами и множеством столов и столиков, на которых валялись планы, книги, свитки бумаг, тетради. Книги были и по стенам, в шкафах, и на резных деревянных полках.

Потемкин полусидел на диване, между двух колонн. В правой руке у него была книга с крестом в три поперечника на переплете, левую он держал на груди, в кружевах, выпущенных из-за распахнувшейся бархатной малиновой телогреи. У его ног расстился ковер с каким-то затейливым рисунком, на котором были изображены простертые два человека в черном и красном одеяниях, с зубчатыми коронами на головах.

Было очень малое, отдаленное сходство между портретами Потемкина, которые видал Орленев, и живым их оригиналом, бывшим теперь пред ним, но все-таки Сергей Александрович сейчас же узнал его по орлиному, несколько загнутому вниз, носу и быстрому, устремленному на него взгляду.

Потемкин выдержал его некоторое время молча, пристально вглядываясь в него, а затем проговорил, показывая стул у дивана:

– Ну, поди сюда, садись! Так ты – племянник старого Орленева? Знал твоего дядюшку и уважал его. Ведь ты – его воспитанник?

Орленев решил, что он потом уже будет допытываться и разбираться, кто предупредил светлейшего о его посещении, потому что тот, видимо, был предупрежден об этом, – и старался лишь сосредоточить все свое внимание на том, что ему говорили, чтобы отвечать как можно яснее и толковее. Он ответил, что он – воспитанник дяди и получил воспитание в Париже.

– А потом жил в Лондоне?

– Да.

Потемкин стал расспрашивать гостя. Они заговорили, и Орленеву эта беседа показалась ничуть не стеснительной. Напротив, он отвечал на вопросы и рассказывал так свободно и просто, как будто давным-давно знал и любил человека, ласково и приветливо принимавшего его.

– Так ты говоришь, что не хочешь служить по дипломатической части?

Потемкин был в том настроении угнетения, которое по временам находило на него. Он запирался тогда у себя в кабинете, никого не пускал туда, лежал целый день не одетый на диване, иногда даже брился не каждое утро. Он принял Орленева по совершенно особому, исключительному случаю, разгадку которого тот нашел гораздо-гораздо позже, и теперь не жалел, что принял его. Молодость и горячность юного посетителя подействовали на него освежающе. Ему приятно было видеть увлечение, с которым, желая ему понравиться, говорил молодой человек. Потемкин слушал его и сам вспоминал свою молодость, когда он, веря в жизнь и свое счастье, беззаботно смотрел вперед и не думал о завтрашнем дне. Верил он, оказалось, не напрасно. Жизнь, с людской точки зрения, улыбнулась ему. Но ласкова ли была для него самого эта улыбка? Действительно ли было ему хорошо среди царственной роскоши, которой окружила его судьба? И вот теперь пред ним юный искатель нового счастья, которому предстоит испытание жизни. Он свободен в своих действиях, свободен в выборе средств для достижения намеченной цели... И все-таки не выйти ему из круга, определенного предвечным законом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.